

ПРАВОСЛАВИЕ И ЗАПАДНЫЙ МИР

Меня часто спрашивают: почему в Англии, да и вообще на Западе появился такой интерес к Православной Церкви и к православной духовности? И мне хочется это немножко объяснить.

В своей религиозной жизни западный мир страдает, главным образом, от того, что из сердца эта жизнь перешла в мозг. Очень многое, что должно было бы быть живым переживанием, живым опытом, стало рациональным. И первое, что поражает западного человека, когда он встречается с Православной Церковью именно в богослужении, это живое чувство верующих православных людей, которые стоят перед Живым для них Богом, и молятся Ему, и общаются с Ним с живым чувством трепета, любви, покаяния, порой ужаса — не в том смысле, чтобы мы чувствовали, будто Бог ужасен, а в том, что Он так велик, что перед Ним можно только пасть ниц, поклониться до земли в каком-то безмолвии души.

В западных церквях это бывает очень редко; западное богослужение стало коротким, рациональным, умственно в значительной мере трудным или, в некотором отношении, в некоторых общинах, убогим; а наше богослужение им кажется само по себе целым переживанием. И действительно, человек в нашем богослужении охвачен всецело; слова богослужения, написанные святыми, испытанные столетиями религиозного опыта, молитвы, представляют собой умственно очень крепкий, ясный, хрустальный остов. И вокруг этого остова, как бы рождаясь из этого остова живой, трепетной мысли — не рациональной, а рожденной из созерцания, — молитва и поклонение Богу. Это — первое, что поражает западного человека.

Второе — это чувство простора и свободы; и некоторую роль в этом играет чисто внешняя обстановка. У нас нет сидений, люди не связаны стульями или необходимостью стоять плечом к плечу; всякий человек выбирает себе в храме место, где он чувствует себя уютно. Правда, все естественно в некоторые моменты делают одно и то же: совершают крестное знамение, поклоняются, становятся на колени; но никто никого не заставляет это делать. И поэтому у западных людей возникает чувство: Ах! Можно дышать! Можно молиться свободно...

И, кроме того, дух Православия очень близок к тому, что можно пережить, читая Евангелие. Меня всегда поражает разница между Евангелием и Апостольскими Деяниями; в Апостольских Деяниях мы находим человеческое общество верующих, которое уже начинает ставить перед собой вопросы узкие, мелкие; общество, где поднимаются всякого рода человеческие переживания, как тина со дна речки. В Евангелии же поражает простор безмерный, простор такой же широкий, как Сам Бог; такое чувство, что над широкой равниной дышит ветер и можно дышать полной грудью, что мы не пленники какой-то системы мышления; хотя мысль Православия и глубока, и четка, но она не суживает опыт.

Вот эти вещи всегда поражают западного человека; но не только. Поражает западного человека и простота отношений, которые существуют между

священником и общиной, между членами Церкви. В этом смысле есть разница между христианским Западом и Востоком. На Западе духовенство уже столетиями представляет собой умственную элиту; это люди, которых специально богословски образуют, люди, которые обладают теоретическим, философско-богословским опытом и знанием, редко встречающимися среди верующих. У нас подход к священнику совершенно другой; мы не ожидаем от него, что он в общине самый образованный, самый ученый человек. Мы ожидаем от него, что это человек живой веры, с непосредственным, живым опытом Бога, с состраданием к людям, с пониманием житейских проблем; он — человек среди нас, только особого рода человек. И я думаю, что я могу это изъяснить примером.

В детстве я воспитывался на Востоке, на границе азиатской степи; и одно из моих ярких воспоминаний, это такая картина: бесконечная равнина, бездонное небо; и между этими двумя бесконечностями, как бы охваченный ими, стоит человек, пастух, и вокруг него — небольшое стадо овец. И когда смотришь на них, делается ясно, что и пастух, и овцы бесконечно малы на лице этой земли или под этим небом; они такие хрупкие, они такие уязвимые; а вместе с этим, между пастухом и овцами громадная разница. Овцы пасутся, они не думают о себе и, конечно, не думают друг о друге; они переходят от пастбища к пастбищу, ища зеленой травы, и только. Пастух же стоит над ними, как страж; он их защитник; он их жалеет; он их охраняет, он их любит, они ему — свои. Весь опыт его жизни и жизни ряда поколений воплощен в его заботе и жалости, в желании спасти этих овец от волка, от страха, от несчастья.

И вот так мы рассматриваем и священника. Это человек, о котором нельзя сказать, что он не похож на нас; он такой же человек, хрупкий, слабый; у него могут быть свои проблемы, свои внутренние борения. Но это человек, который почему-то узнал, познал Бога лично, был поражен этим опытом приближения Бога, почувствовал, что если Бог таков, если Бог полон любви, полон заботы о людях, то и он должен свою жизнь отдать для этих людей и посвятить ее этим людям, каковы бы они ни были — умные они или глупые, привлекательные или нет, грешные или праведные — без всякого разбора; они — Божии, они Богом любимые, Ему родные. И весь опыт тысячелетий любви, тысячелетий понимания духовных путей, человеческих падений и человеческих взлетов — в руках этого священника, который всю жизнь хочет посвятить тому, чтобы каждый человек, который около него, приобщился к этому чуду познания Бога, к этой радости бесконечной, ни с чем не схожей...

Мне вспоминается один молодой человек. Дело было в Париже; он шел как-то ночью по городу и, переходя через мост, вдруг почувствовал, что Бог стал непостижимо близок ему; и на этом мосту он поклонился до земли и сказал: Господи! Если для Твоей победы нужно, чтобы я погиб — пусть я погибну, но чтобы Твоя слава воссияла на земле... Вот отношение священника и верующего человека к Богу; и это чувство, это сознание переливается и на его отношение к людям: раз Бог **так** возлюбил Свою тварь, что Свою жизнь за нее отдал, то, конечно, и священник должен ее отдать без остатка. И когда я говорю *отдать*, я совсем не хочу сказать *умереть*, а — **жить**, жить изо дня в день, из часа в час, все время, всеми силами ума, и сердца, и воли, и тела для того, чтобы это осуществилось: чтобы хоть один человек мог вдруг почувствовать близость Бога, Ему поклониться, Его полюбить, и свою жизнь, в свою очередь, отдать, чтобы другие возликовали этой радостью.

Это тоже на Западе редко встречается, потому что жизнь священника, подход священника — учительский, умственный. Это тождество между овцой и пастухом, между человеком спасаемым и тем, который кричит ему: "Я знаю путь — только послушай" — в какой-то мере было утрачено. Я говорю "в какой-то мере", потому что есть на Западе дивные пастыри; но в целом такое отношение к пастырству западные люди находят в Православии с изумлением.

Дальше я хочу продолжить анализ различий между православным Востоком и католическим и протестантским Западом, в результате которых Запад заинтересовался Православием. И я хочу сказать нечто о нашем отношении к жизни в отличие от западного. В настоящее время и уже довольно давно на Западе центральное устремление — это устремление к тому, чтобы человек мог жить свободно, творчески, плодотворно, но очень лично; сознание блага страны, сознание целостности и последовательности исторического процесса очень ослаблены. И то, что поражает западных людей в нас, русских, и в частности, в православном подходе к жизни, это целеустремленность и сознание, что жить без смысла — нельзя; что можно жить только ради чего-то и направляя все свое усилие, весь упор своей жизни куда-то.

Впервые это мне стало совершенно ясно, когда я встретился с Евангелием и вдруг обнаружил, что ключ всей жизни — в Боге; что можно строить жизнь только вместе с Богом и что Бог так просторен, так глубок, что Его пути превосходят всякое наше понимание и требуют от нас, чтобы мы себя как бы переросли. Просто жить человеческими, добрыми отношениями, просто строить общество, в котором человеку жить неплохо или даже хорошо — недостаточно; надо жить так, чтобы град человеческий стал градом Божиим, чтобы человеческий град вырос в такую меру, что первым его гражданином мог бы быть Богочеловек Иисус Христос, то есть Бог, ставший человеком, и чтобы в человеческом граде было бы достаточно простора для Самого Бога.

Второй намек на необходимость и на значимость смысла жизни я получил из нескольких слов моего отца. Я как-то вернулся после летнего отдыха домой; отец меня встретил с выражением какой-то тревоги. "Что с тобой?" — спросил я. — "А я все боялся в течение твоего отсутствия, что с тобой случится что-то неладное". Я улыбнулся: "Неужели ты боялся, что я сломаю ногу или сверну шею?" — "Нет, — ответил он мне тихо, спокойно, твердо, с большой любовью, но беспощадно, — это было бы не так важно; я боялся, как бы ты не потерял цельность души". И он прибавил: "Запомни на всю жизнь: живешь ты или не живешь — не важно не только для других, но должно быть не важно и для тебя; единственное что важно, это — ради чего ты живешь и ради чего ты готов умереть".

И это я запомнил; и это так совпадает с православным сознанием, и это один из вкладов, который мы, русские, можем сделать в жизнь того Запада, который нас принял с большой любовью, дал нам возможность жить, расти, творить, приобретать знания, стать полезными гражданами вселенной; но который требует, чтобы кто-то его окликнул, чтобы кто-то ему сказал, что жить для себя — нельзя; жить для ближнего, если он только земное существо, — мало. Надо видеть в ближнем человека такого масштаба, который ему позволит уместиться и расцвести только в Божием граде; не только в видимой Церкви — этого мало, а в том Царстве Божием, где Бог и человек будут едины и где все масштабы будут сверхчеловеческие, Божии.

И вот, не так давно мне был поставлен вопрос: а почему, собственно, мы должны что-то давать Западу? Почему мы должны разделить с Западом самые богатые, самые сокровенные наши мечты? Ответ: из одной благодарности, из любви. Если мы сознаем себя членами человечества, если мы не потеряли русское сознание *всечеловека*, если мы не потеряли сознание того, что смысл жизни должен охватить весь мир и что пока это не произошло, смысл не достигнут, не выражен, то мы должны давать. В этом все содержание нашей христианской веры. Перед Своей смертью Спаситель Христос сказал Своим ученикам: *Никто Моей жизни у Меня не отнимает: Я ее свободно отдаю* (Ин. 10,18). И так должен думать, и так должен поступать каждый православный христианин. Отдавать свою жизнь вовсе не значит обязательно умереть; отдавать свою жизнь — это значит посвятить все свои мысли, все богатство своего сердца, всю свою крепость тому, чтобы дать другому то, что ты сам считаешь самым драгоценным в твоём опыте, сердце, уме и жизни.

И в этом смысле христианин не может поступать иначе, чем как человек, который дает: отдает себя, отдает свой ум, отдает свое знание, отдает свои силы — все отдает *до конца*. А у нас есть к тому же еще и основание давать, потому что мы получили очень многое. Было время, когда мои родители и я были совершенно обездоленные: негде было жить, нечего было есть, неоткуда было почерпнуть вдохновение и радость к жизни, негде было учиться, негде было работать — и нам Запад это дал. И в обмен на земное, что мы от Запада получили, в обмен на культуру, которой сейчас на Западе около двух тысяч лет или больше, мы приносим самое великое, самое драгоценное, что у нас есть: нашу веру; веру как мировоззрение, веру как смысл, веру как вдохновение. Это наш долг и это наша радость. Вот почему я говорил, что мы так устремлены разделить с Западом все, что тысячелетняя история России и двухтысячелетняя история всемирного Православия нам дали: опыт святых, правду и истину, Евангелие, увиденное через чистое сердце великих подвижников, и сознание правды Божией, которая должна восторжествовать на земле.

Да, мы должны давать; и это относится ко всем: и в России, и на Западе, и во всем мире нам поручено делиться небесным сокровищем с людьми, которые, может быть, забыли небо, но которые без него не могут жить, задыхаются на земле, с людьми, которым надо встретить Бога, потому что иначе человеческое общество слишком бедно, слишком тускло, слишком бессмысленно и бесцельно. Вот почему я с таким убеждением говорил, что мы не только должны, но мы можем дать Западу то, что Запад в значительной мере, во всяком случае, судя по моему опыту и по моему убеждению, утратил за столетия.

И теперь, после того как мы говорили о жизни, мне хочется сказать о смерти. Запад смерти боится; не только неверующие, которые за смертью не видят ничего и поэтому держатся за эту жизнь, ибо ничего другого они не ожидают, но даже и верующие. Особенно это чувствуется здесь, в Англии; до последнего десятилетия о смерти было как-то неудобно говорить; это была закрытая тема. Когда кто-нибудь умирал, это не то что замалчивали; горе, конечно, было горем: мать, потерявшая сына, жена, потерявшая мужа, плакали, разрывались душой, как всякий человек, но смерть не осмысливалась, боялись заглянуть ей в лицо.

Одна из самых замечательных вещей в нашем Православии — это похороны при открытом гробе. На Западе неисчислимое количество людей никогда не заглянули в лицо усопшего человека. Они встречаются со смертью только в виде гроба. До этого они ухаживают за больным, видят его страдание,

ужасаются, порой, тому, что ему приходится пережить и душевно, и телесно, а когда приходит смерть, этот человек оставлен на попечение тех, кто его уложит в гроб и отнесет этот гроб или в храм, или в крематорий, или на кладбище. Открытый гроб — откровение для западных людей; откровение, потому что они могут заглянуть в лицо усопшего человека и увидеть не ужас, а величие смерти.

Я вспоминаю один случай. Сколько-то лет тому назад в одном английском городке, после довольно многих лет острого страдания, скончалась прекрасная бабушка. Ее сын был русский, жена этого сына — англичанка. Это были мои друзья; я к ним приехал, как только узнал о смерти бабушки. И вот вижу: все сидят в гостиной, а детей нет. “Где же дети?” — “Мы их услали из дому”. — “Почему?” — “Но как же им быть в одном доме с мертвой бабушкой!” — “А почему же нет?” — “Но ведь это может их потрясти на всю жизнь, они будут душевно больны!..” Я долго спорил и, в конечном итоге, добился, чтобы детей вернули домой. Мать мне сказала: “Хорошо, возьмите их в комнату, где лежит их бабушка, и пусть на вас будет ответственность за то, что они переживут”. Я этих детей взял (мальчику было пять лет, девочке — семь); мы вошли; в комнате царил та торжественная тишина, которая окружает усопшего; было сверхъестественно тихо. Девочка посмотрела в лицо своей бабушки, которую она годами видела в страдании: морщины расправились, лицо было светлое, спокойное, изумительно красивое; и девочка сказала: “Так, значит, это смерть!”. А мальчик прибавил: “Как это прекрасно!”.

Разве это не более здоровое начало в восприятии того, что такое смерть, чем ужас? А ужас может быть, действительно, величайший, потому что в моем споре с родителями я их спросил: “Но почему вы думаете, что дети должны так испугаться смерти?” Их мать мне ответила: “Они знают, что такое смерть”. — “Каким это образом они знают, что они могут знать о смерти?” — “Они видели несколько дней тому назад маленького зайчика, растерзанного кошками в нашем саду”. И ведь подумайте: если бы я им не показал бабушку, лежащую в этом дивном покое смерти, они всю жизнь думали бы, что смерть — это неизъяснимый ужас растерзанного живого тела, измученного, изуродованного.

И вот это первое, что мы можем представить западному человеку: приди, посмотри!.. Часто наши западные посетители мне говорят: “Но, конечно, вы своих детей не подводите к гробу!?” — “Конечно, подводим, чтобы они видели!” — “И что говорят дети?” — “То же самое, что говорили эта девочка и этот мальчик: Какая красота! Как он спокойно лежит! Ему, значит, теперь уже и не больно, и не страшно!”. И это остается на всю жизнь. Единственное, что может испугать ребенка, когда он поцелует в лоб усопшего, это внезапное чувство холода: жизнь ушла. И ребенка надо предупредить об этом, потому что иначе его охватит страх перед этим холодным телом; а если он поймет, то увидит только величие смерти.

И это тоже нечто, что мы должны принести Западу: наше православное зрение, наше православное переживание и понимание смерти.

Одно из самых чудесных богослужений в Православной Церкви — это служба похорон. Я говорил о том, какое глубокое впечатление может произвести на человека лицезрение усопшего, ушедшего в Божественный покой. А теперь я хочу сказать больше о самом богослужении. Богослужение начинается словами, которые можно произнести только из глубины крепкой веры или напрягая все силы своего доверия к Богу, перерастая себя; перед лицом усопшего, перед

гробом сказать: *Благословен Бог наш!* — ответственное и страшное слово. Не всякий может его сказать всем сердцем; ему придется, порой, бороться с собой, потому что боль, ужас не смолкают от веры. Благословен Бог наш: благословен Он за жизнь, которую прожил этот человек; но благословен Он и за его смерть.

Как же можно такие слова произнести? Благословен Бог за жизнь — да! Ведь мы собраны у этого гроба не потому, что умер человек, а потому, что он жил, потому, что он в нашей жизни оставил след, потому, что он посеял в нашем сердце, в нашем уме семена, которые потом взрастут. Но как же сказать *Благословен Бог* перед лицом смерти? Когда Христос стоял перед лицом Своей смерти, Он сказал Своим ученикам не только то, что я уже упоминал: Никто Моей жизни у Меня не отнимает, Я ее свободно Сам отдаю; Он сказал и другое: Если бы вы Меня по-настоящему любили, вы бы радовались за Меня, ибо Я отхожу к Своему Отцу... Мы о смерти всегда думаем как о разлуке, потому что мы думаем о себе и об усопшем; мы думаем о том, что никогда больше не услышим любимого голоса, никогда больше не тронем любимого тела, никогда не погрузим свой взор в дорогие нам очи, которые открывают всю глубину человеческой души, никогда не будем больше жить вместе с человеком той простой человеческой жизнью, которая нам так дорога, которая так драгоценна. Но мы забываем, что смерть является, одновременно, встречей живой души с Живым Богом. Да, уход от земли, уход от нас, хотя бы относительный; но уход с тем, чтобы стать лицом к лицу с Живым Богом, с Богом жизни, и вступить в такую полноту жизни, которая никому не доступна на земле.

И вот об этом, сквозь слезы, с раздирающим нас от собственной боли сердцем, мы можем радоваться за другого человека; конечно время борения, страдания, искания; он теперь в полном свете, он теперь видит то, чего он искал, он теперь знает, он теперь живет — жизнь победила. И вдохновляя нас на такие мысли, одна из первых молитв, стих из псалма, говорит нам как бы от имени усопшего: *Жива будет душа моя и восхвалит Тебя, Господи!..* Словно из гроба нам посылает весть усопший: я жив, я вижу Бога, я вошел в вечность, я не потерял жизнь, я из временного вошел в вечное; из того, что можно у меня отнять, вошел в то, чего уже никакая сила у меня отнять не может...

И мы стоим перед этим гробом с сердцем, полным скорби, со слезами; и вместе с тем, таинственно сквозь боль созерцаем эту величественную встречу Бога и человека, момент, когда завершается весь человеческий путь, когда человек уже не на пути, а дома.

Теперь я скажу о значении тела и о том отношении, которое Православие проявляет к нему и в течение жизни, и когда человек лежит в гробу и мы в последний раз с ним прощаемся до дня, когда мы все будем живы силой Божией.

Мы о теле почти никогда всерьез не думаем; тело как бы само собой разумеется, мы не осознаем его до той минуты, когда вдруг с ним что-нибудь случается. Меня это поразило, когда я был студентом медицинского факультета. В первый раз я студентом пришел в больницу: меня послали поговорить с одним из больных. И вдруг я обнаружил, что этот человек о своем теле говорит с трепетом; он как бы говорил: "Смотри: это — я, это — мое тело, оно болит, оно болеет! Мне страшно за него, и я тебе его доверяю. Я верю в твою добротность; я верю, что ты будешь трогать его, будешь прикасаться к нему благоговейно, почтительно, что ты будешь относиться к нему с любовью и чистотой; что ты это

тело спасешь, что ты меня, состоящего из этого тела и той живой души, которая его вдохновляет, одушевляет, — что ты меня спасешь". Меня тогда поразило отношение человека к своему телу, поразила та любовь, которую он проявляет к этому телу.

И эту любовь, эту заботливость, это благоговейное отношение к телу мы находим в Православии; и это сказывается удивительным образом в службе отпевания. Мы окружаем это тело любовью и вниманием; это тело — центр службы отпевания усопшего; не душа только, но и тело. И действительно, если подумать: ведь ничего нет в человеческом опыте не только земного, но и небесного, что не достигло бы нас через наше тело. В земном порядке — ребенок воспринимает любовь своей матери в ее объятиях; задолго до того, как он может это умом или сердцем осознать, он чувствует, что он любим: его ласково держат, его моют, его кормят, его гладят, его греют; тело первое знает об этой любви, через тело этот опыт доходит до сознания, когда оно просыпается. Через тело мы воспринимаем красоту мира, и тепло, и жгучий холод, и крепость, и силу, и чувство жизни; через тело мы воспринимаем брачную любовь, ласку матери, рукопожатие друга, сознание, что мы стоим с нашим ближним плечом к плечу в борьбе, военной или гражданской, земной.

И вот это поражает западного человека: что тело не является как бы изношенной одеждой, которую мы сбросили с плеч, из которой, как из клетки, выпорхнула душа. Нет, это тело нам дорого и в смерти; оно прекрасно, оно любимо даже тогда, когда его коснулась смерть и ожидает тление. И это отношение к телу — один из даров Православия Западу.

На похоронах православные люди стоят с зажженными свечами. Что это значит? Свет — всегда знак радости, но радость бывает разная. Она бывает ликующая, а бывает радость среди слез. Я говорил, что в смерти мы переживаем разлуку и слишком часто забываем о том, что нас-то постигает разлука, но усопшего постигает встреча: встреча лицом к лицу с Живым Богом. И вот, стоя с зажженными свечами, с сердцем, разрывающимся от горя, с глазами, полными слез, мы все-таки помним, что совершается самое торжественное, самое величественное, что может случиться с человеком: встреча с Живым Богом. И в этом мы ему сопутствуем; мы выражаем его радость, предстоим перед ним и перед Богом с зажженными свечами.

Но эти свечи говорят еще о другом. Свет — это знак жизни, это знак победы над тьмой, над мраком. Когда мы стоим с этими свечами, мы как бы безмолвно говорим Богу: этот человек зажегся в мире, в полумраке земном, как светоч; он нам светил, приносил правду, приносил любовь; его присутствие разогнало сколько-то той тьмы земной, в которой мы так часто не находим своего пути. Он указал нам путь. Мы собраны здесь не только потому, что умер человек, любимый нами, но именно потому, что он жил, и мы о его жизни свидетельствуем этим светом.

И наконец, говорим мы еще о другом: мы говорим, что мы верим в воскресение; свечи, которые мы держим, напоминают нам о тех свечах, которые держат верующие в пасхальную ночь, когда поется: *Христос воскрес из мертвых, смертью Он поправ, победил смерть, и сущим во гробах Он даровал жизнь...* Эти слова могут показаться странными: как же так? Перед лицом смерти, которая косит по всей земле, как мы можем говорить о том, что смерть Христова победила смерть? Его — да: Он воскрес, Он жив; а чужую — Он разве

победил?.. Да, Он ее победил; потому что самым страшным в смерти в древности, до прихода Христова, была окончательная, безнадежная разлука человека с Богом. Человек на земле не нашел Бога и теперь Его потерял — как казалось людям, не знавшим, что придет избавление — окончательно. Христос упразднил эту отлученность, Он положил конец этой окончательной разлуке. Да, телом мы усыпаем, охватываемся земным сном, но души наши уже не могут быть отлучены ни от любимых, ни от Самого Бога. Смерть Христова и Его воскресение победили смерть, открыли путь к этой торжественной, величественной встрече, о которой я говорил, и приготовили путь воскресения всех, когда все мы встанем живые, облеченные плотью; но не той тяжелой, густой, обременяющей нас плотью, которую мы сейчас носим, а плотью просвещенной, легкой, прозрачной, которая не разделяет человека от человека, не отделяет человека от Бога, а является обоженной плотью, пронизанной благодатью и жизнью, так же как душа наша будет пронизана жизнью вечной.

Вот почему мы можем стоять на похоронах с сердцем разрывающимся — и с глубоким сознанием благоговения, трепета и благодарности, почему мы можем сказать словами церковной песни: *Блажен путь, в который ты вступила нынче, о, человеческая душа, ибо тебе приготовлено место вечного упокоения...*

После похорон близкого, дорогого нам человека мы все разойдемся по домам; но с чем? Неужели только с сознанием, что мы потеряли близкого друга или самого родного, любимого? Неужели только с тем, чтобы вернуться к прошлому? Одни будут горевать дольше, другие навсегда будут ранены, поражены насмерть этой утратой; а третьи, отдав долг усопшему, вернуться к обычной жизни. Но так ли это? И так ли это должно быть? Если собралась нас вокруг усопшего не только его смерть и не только наше сострадание к тем, кто его потерял, но его жизнь, то мы должны вернуться в нашу обыденную жизнь по-новому. Этот человек нам был дорог; мы его уважали, почитали; ведь за что-то мы его уважали, почитали и любили? И вот это мы должны вспомнить и никогда не забыть.

Жизнь человека может засеять нашу душу семенами правды, благородства; и раз мы пришли на эти похороны, значит, это так и есть; нам надлежит вернуться в жизнь так, чтобы смерть уважаемого, любимого человека не прошла даром. И мы должны понять несколько вещей. Первое: что этот человек жил и нам дал пример, как жить, и этому примеру мы должны последовать. Иначе напрасно мы приходили на эти похороны, напрасно этот человек был нашим другом, родным, мужем, отцом. Наша жизнь должна приумножить его жизнь; каждый, кто присутствует на похоронах, должен в своей жизни воплотить то, что он увидел, оценил, понял в жизни, в личности усопшего. И тогда наша земля не только не потеряет чего-то со смертью этого человека, но наоборот, обогатится жизнью десяти, или сотни, или тысячи людей, которые по его примеру будут жить более благородно, более достойно своего человеческого звания, более достойно своего звания христианина.

Это мы должны запомнить; потому что смерть человека нам дает задание; и придет время, когда и мы умрем, когда мы станем перед Богом, когда мы вновь встретимся лицом к лицу с тем, кого мы сейчас похоронили. И Христос нас спросит: чему вы научились из жизни и из смерти этого человека?.. И если мы сможем Ему сказать: взгляни на мою жизнь, Господи, — она вся пронизана светом его жизни и его смерти! все доброе, все благородное, что Ты во мне

видишь, — на самом деле принадлежит ему! возьми это от меня — это его слава, это его честь!.. — как дивна будет эта встреча в любви и в благодарности.

Но смерть нас должна научить и другому: тому, что каждый из нас в любое мгновение может умереть. Если бы только мы думали об этом чаще — не со страхом, не с ужасом, а так, чтобы каждое наше слово, каждый наш поступок могли быть последним словом, последним поступком, завершением нашей жизни, самым прекрасным, что в этой жизни мы сказали или совершили. Если бы мы думали, что слова, которые я сейчас говорю, может быть, дойдут до одного человека, и если это будут мои последние слова — моя речь оправдана, моя жизнь оправдана. Но если я умру на гнилом слове? на неприглядном поступке? если я отравлю чужую мысль и чужое сердце и жизнь словом или делом — как страшно!

А мы живем беспечно; мы живем, будто мы пишем черновик, а завтра перепишем его начисто, но этого не бывает никогда. Уходя с похорон, нам надо понять, что и самый близкий нам человек, и мы сами можем умереть через одно мгновение и что каждое мгновение должно стать завершительным мгновением жизни.

[1] Радиобеседы, прозвучавшие в русской религиозной программе Би-би-си, 1981 г.